

Александр Иванович Куприн

Миллионер



Александр Куприн

Миллионер

«Public Domain»

1895

Куприн А. И.

Миллионер / А. И. Куприн — «Public Domain», 1895

«На третий день рождества, вечером, у холостого журналиста почтовой конторы Ракитина собралось несколько гостей. Это происходило в крошечном пограничном местечке Красилове, очень грязном и очень скучном, населенном тысячами тремя евреями и крестьян-мазуров, среди которых выделялась небольшая кучка, составлявшая так называемое «общество». В «общество» входили почтовые чиновники, лица, заведующие пропуском товаров за границу через «переходный пункт», местная полиция, духовенство и учитель со своим помощником...»

© Куприн А. И., 1895

© Public Domain, 1895

Александр Иванович Куприн

Миллионер

На третий день рождества, вечером, у холостого журналиста почтовой конторы Ракитина собралось несколько гостей. Это происходило в крошечном пограничном местечке Красилове, очень грязном и очень скучном, населенном тысячами тремя евреями и крестьян-мазуров, среди которых выделялась небольшая кучка, составлявшая так называемое «общество». В «общество» входили почтовые чиновники, лица, заведующие пропуском товаров за границу через «переходный пункт», местная полиция, духовенство и учитель со своим помощником. Все они в обыденное время редко посещали друг друга во избежание лишних расходов, но на Рождество и Пасху непременно обменивались церемонными визитами и устраивали поочередно «балки», на которых танцевали до света под гармонию или скрипку и угощались отвратительной местной картофельной водкой и незатейливыми изделиями хозяйской кухни.

Стол был накрыт в той из двух маленьких комнат ракитинской квартиры, которая носила громкое название гостиной, в отличие от другой, называвшейся спальней. На первом месте сидел начальник почтовой конторы Шмидт, бледный, толстый, отекший человек, весь как будто бы налитый водою, вялый и равнодушный ко всему в мире, кроме штоса и «дьябелка». По бокам Шмидта и друг против друга помещались: отец дьякон Василий и хозяин дома, маленький энергичный брюнет с темно-желтым лицом и желтыми белками глаз и с хитро подобострастным взглядом. Следующие места занимали: помощник пристава Павлов, бывший казачий офицер, весельчак, запевала и скандалист, и напротив его учитель Мусорин, мрачный мужчина монашеского типа, весь обросший длинными черными волосами и называвший сам себя «апостолом тихого пьянства». Наконец, на самом конце стола приютился Аггей Фомич Малыгин, тоже – почтовый чиновник, всегда по своей робости и скромности занимавший последние места.

Аггей Фомич вообще избегал, по возможности, ходить в гости, потому что это налагало на него своего рода обязательство – принимать у себя. Он был самым бедным чиновником во всей конторе, к тому же еще обязанным накормить и одеть жену, старуху тещу и пятерых детей, на содержание которых никогда не хватало двадцатидвухрублевого ежемесячного жалованья. Каждый, устроенный им по необходимости «балок» производил в домашней экономии страшные бреши, требовавшие для своего исправления сверхъестественного сокращения обычных расходов. Приходилось надолго отказываться всей семье от мяса в борще, от утреннего чая, от лишнего полена дров. Начальство, приезжавшее изредка на ревизии почтовой конторы, всегда недружелюбно косилось на старый мундир Аггея Фомича, позеленевший, расплзшийся по швам, заплатанный, с лоснящимися локтями и воротником. И если оно не смеццало Аггея Фомича за небрежность и неприличный вид, то это можно было только объяснить жалостью, которую невольно внушала всякому его длинная, тощая фигура с бледным веснушчатый лицом, украшенным рыжими, очень редкими и короткими усами и бородой, с ласковой и виноватой улыбкой малокровных губ и выцветших светлых глаз.

Аггей Фомич и теперь пришел только вследствие настоятельной необходимости. Его жена, болезненная женщина, всегда ходившая с подвязанными зубами, должна была на днях родить; кроме того, у старшего сына отвалились подошвы на сапогах; и то и другое требовало денег, которых в доме не было ни копейки. Положение стало до такой степени критическим, что Аггей Фомич, победив свою робость, решился во что бы то ни стало на вечеру у Ракитина взять у кого-нибудь займы несколько рублей. И он сидел теперь за столом взволнованный, бледнее обыкновенного, с замирающим от робости сердцем, нервно потирая руки и ожидая удобного момента, чтобы заговорить о своем деле. Он с сконфуженной поспешностью отка-

звался от каждого предлагаемого ему куска, из боязни, понятной только беднякам, ввести в лишний расход хозяина.

Гости пили и закусывали. Между ними давно уже шел длинный, неторопливый и скучный разговор о помещике, о начальнике почтового округа, о местном архиерее, о будущем урожае, разговор, до такой степени часто и однообразно повторявшийся, что каждый наперед знал, какой именно анекдот расскажет его собеседник. Раза три или четыре Аггею Фомичу казалось, что удобный момент наступил. Ему казалось удобным под общий разговор незаметно наклониться к помощнику пристава или к учителю и попросить денег. И он уже перегибался в их сторону, готовый тихонько притронуться к их рукаву, чтобы обратить на себя внимание и затем попросить. Но каждый раз невыразимая робость, почти страх, сковывала его движение. Разговор понемногу перешел на то, как теперь стало трудно жить, как все дорого и как редко выслуживаются и попадают в люди мелкие чиновники. Это направление разговора было для всех очень близким и общим, и каждый выразил мнение, что «как там ни говори, а самое главное в жизни все-таки деньги и деньги: при них не нужно быть ни умным, ни красивым, ни тружеником – все равно люди будут всегда преклоняться перед золотым тельцом».

– А ведь я раз чуть не сделался богачом, – сказал задыхающимся голосом Шмидт. – Был я как-то на свадьбе у помещика Порчинского, у того самого, что на Головчине... Собралось там человек двадцать польских панов, и, понятно, после ужина сейчас же штос. У меня было в кармане, не помню, двадцать или тридцать пять рублей. Конечно, где же тут садиться, когда они играют по тысяче рублей. Я стою рядом и смотрю. Только вдруг какой-то помещик, с такими длинными усами, он все понтировал по четвертной, семпелями, говорит мне: «Отчего же вы ничего не поставите?» Я ему отвечаю, что у меня не так много денег, чтобы играть. «Пустяки, говорит, ставьте». Ну, я поставил десять – проиграл, еще десять с какой-то мелочью – тоже проиграл. Меня тогда злю взяло. Был у меня серебряный екатерининский рубль, так, для памяти я его держал. Дай, думаю, поставлю и его. Поставил. Представьте себе – дали. Я на педали. Еще раз на пе, и еще, и еще. Минут в пять сорвал весь банк. Банкомет говорит: «Закладывайте теперь вы». Ну, я, конечно, сел. Мечу. Ну, понимаете, чуть кто крупную карту поставит, я сейчас лусь и убью. Набралось у меня тысяч до пятнадцати. Я уже думаю встать, да все как-то жаль: а ну, как я свое счастье упущу? В это время подходит к столу сам Порчинский, тот самый, который женился-то. «А ну-ка, – говорит мне, – вам в любви везет, так в карты не должно везти. Дайте-ка я заложу». Я говорю ему на это: «Извините, я уже мечу». А он говорит: «Вы? Очень хорошо. Ва-банк!» Все так и рты разинули. Ну, делать нечего, тасую я карты, а он даже и снимать не хочет, и даже не моргнет, каналья. И представьте себе, на второй карте взял все деньги, положил в карман и отошел прочь. «Я, говорит, теперь и метать больше не хочу».

Все слушали рассказ Шмидта с горящими глазами: точно они сами видели эти пятнадцать тысяч и слышали их запах и шелест.

– А вот тоже есть счастливицы, которые выигрывают на билеты, – сказал, вздыхая, отец дьякон (всем было известно, что у него есть билет внутреннего займа). – На днях я читал, ростовщик какой-то двести тысяч цапнул. И хоть бы бедному человеку досталось, а то ведь у этого и без того денег куры не клюют. Истинно неисповедимы пути божий.

– Н-да, – протянул задумчиво и басом учитель, – бывает. А вот, говорят, что если который билет один раз выиграл, то уж в другой непременно выигрывает. Правда это или нет?

– Да, говорят, – ответил помощник пристава, – только я не знаю, верно ли... А у нас вот в З. с одним копиистом такой был случай. Служил он в губернском правлении и кое-как сколотил себе билетик. Как-то раз приходит он в правление, а столоначальник его спрашивает: «Какой номер вашего билета, Сергей Иванович?»

– «Какой, говорит, не помню уже какой, ну, хоть, положим, тысяча сто двадцать третий». – «Поздравляю вас, вы выиграли пятьдесят тысяч». Справились в газетах: точно – тысяча сто двадцать третий – пятьдесят тысяч. Ну, тот прямо обезумел от радости! Обед закатил с

шампанским, все его поздравляют, речи говорят. А на другой день в той же газете напечатано, что, мол, по ошибке, вместо тысяча сто двадцать четвертого, напечатан тысяча сто двадцать третий. Так с этим копиистом нервная горячка сделалась.

И один за другим потекли эти избитые, всему миру известные рассказы, похожие один на другой, как две капли воды: о Ротшильде, пришедшем в Париж пешком и продававшем сначала спички на улицах, а потом имевшем сто миллионов годового дохода, о Вандербильте, о подземных находках, о карточных выигрышах, о биржевой спекуляции, о неожиданных американских миллионерах-дядях.

Аггей Фомич, хотя сам и не говорил ничего, но всей душой принимал в этих разговорах участие. Несмотря на свою бесцветную внешность, он, как это часто бывает, обладал удивительно пылким воображением и все, что при нем рассказывалось, представлял необычайно ярко. Разговоры о долгах, о неожиданных богатствах, об этих диковинных, могущественных существах, называемых миллионерами и не знающих отказа ни в одной своей прихоти, взволновали его до лихорадочной дрожи, взволновали тем более, что ему именно в эти минуты были до зарезу необходимы несколько жалких рублей на акушерку и на сапоги мальчику.

– Некоторые тоже находят деньги на улице, – выпалил вдруг неожиданно для самого себя Аггей Фомич.

Все поглядели на него с удивлением, – он до сих пор еще ни слова не сказал во весь вечер. Аггей Фомич сконфузился и потупил глаза в скатерть.

– Как же, находят и на улицах, только... в чужих карманах, – сострил помощник пристава.

Все засмеялись, больше над опрокинутым лицом Аггея Фомича, чем от остроты помощника пристава, и тотчас же каждый рассказал несколько случаев крупных, дерзких, оставшихся неразгаданными краж. И опять перед глазами Аггея Фомича завертелись десятки и сотни тысяч рублей, громадные пачки пестрых ассигнаций, волшебные имена богачей, не знающих счета деньгам. И он слушал с таким же чувством, с каким голодный глядит в окно гастрономического магазина.

Старые, хриплые стенные часы пробили час. Отец дьякон поднялся и, завернув правый рукав рясы, стал прощаться, за ним встали и другие, исключая Аггея Фомича. Он все время, пока Ракитин со свечкой провожал гостей до выходной двери, сидел неподвижно на том же месте, в волнении катая дрожащею рукой хлебные шарики. «Вот сейчас Ракитин вернется, – думал Аггей Фомич, – и я попрошу. Нужно только быть смелее. И ведь в самом деле, не съест же он меня за просьбу?»

Наконец Ракитин вернулся и сел рядом со своим гостем, удивляясь тому, что он не ушел со всеми, но Аггей Фомич, вместо того чтобы сразу попросить денег, затянул длинный и скучный разговор о службе и о жалованье. Ракитин глядел на него слипающимися глазами, делая из вежливости вид, что слушает, и зевая с судорожно закрытым ртом. Так прошло с полчаса. Наконец Ракитин не выдержал и с громким протяжным зевком потянулся.

– Ах, какое свинство! – сказал он сонным голосом. – Завтра мое дежурство...

Аггей Фомич поспешно встал и начал извиняться. В сенях, взявшись уже за ручку двери, он вдруг, преодолев нерешимость, обернулся к Ракитину.

– Послушай, – произнес он сдавленным голосом и не поднимая глаз, – у меня того... есть к тебе маленькая... то... просьба.

– Что такое? – спросил Ракитин беспокойно.

– Понимаешь, я бы... то... я бы не стал тебя беспокоить... Жена вот должна родить... Ты знаешь, понимаешь, необходимо... А я бы, ей-богу, отдал двадцатого... рублей... – он хотел сказать: десять, но испугался сам такой суммы, – рублей хоть пять одолжи...

– Ей-богу, ни копейки, – ответил Ракитин, прижимая убедительно обе руки к груди, – ну, понимаешь, во всем доме – ни копейки.

По чересчур искреннему тону Ракитина Аггей Фомич отлично понял, что у него есть деньги и что он боится дать их взаймы. Пробормотав что-то вроде извинения, Аггей Фомич вышел на улицу.

Ночь была лунная, тихая и морозная. Широкие, заваленные снегом улицы, низенькие домики с их белыми снежными шапками, деревья, осыпанные снегом, точно ватой, – все это казалось мертвым. Снег гулко скрипел под ногами. Аггею Фомичу приходилось идти довольно далеко. Мысль о деньгах не покидала его. Он с ужасом думал о том, как сейчас придет в свою квартиру, низкую, холодную, с зелеными окнами, стекла которых по диагонали склеены замазкой, с вечным запахом нищеты и детских пеленок. Что он скажет жене, когда она своим надорванным, больным голосом спросит о деньгах? Вот он сейчас пил водку и пиво, ел поросенка жареного, а ведь там легли спать впроголодь, с одной надеждой на отца, который непременно достанет денег.

«Господи боже мой, – думал с горечью Аггей Фомич, – отчего другим ты посылаешь и счастье, и довольство, и сытую жизнь? Отчего же ты меня позабыл? Другие находят же, например, деньги, которые им, может быть, и не нужны даже. Что, если бы мне хоть раз, ну, один только разочек в жизни найти... ну, хоть десять, нет, двадцать рублей! И акушерке будет чем заплатить, и сапоги Васютке, и теплое пальтишко Леле... Сейчас, например, ну почему бы мне не найти бумажника на дороге? Ведь бывают же иногда такие случаи, даже и часто бывают; мало ли об этом пишут и говорят?..»

И, по свойству своего мечтательного ума, Аггей Фомич начал с наслаждением представлять себе, как он находит на улице толстый кожаный бумажник, как он раскрывает его и находит там целую пачку сторублевых бумажек и выигрышных билетов, как он перебирается в большую, теплую и светлую квартиру, заводит мебель, шьет семье теплые красивые платья, и... мало ли чего хорошего можно сделать на большие деньги?..

И мало-помалу, – может быть, под влиянием нескольких рюмок выпитой водки, может быть, вследствие самовнушения, – в душе Аггея Фомича начала возрастать чудовищно нелепая, но неотразимая уверенность, что он сегодня, даже именно сейчас, должен найти на улице чудесный бумажник. Почему это должно было случиться – он не знал, да и не думал об этом. Он просто был уверен и шел, опустив голову и внимательно глядя себе под ноги.

– Вот сейчас... сейчас, – шептал он, точно в бреду, – другие же находят... еще несколько шагов... сейчас... сейчас...

И вдруг – это вовсе не было иллюзией в разгоряченном воображении – он ясно увидел на снегу дороги черный небольшой предмет правильной четырехугольной формы. Задыхаясь от безумного восторга, с волосами, стоявшими дыбом, Аггей Фомич оглянулся, как вор, по сторонам и кинулся на лежащий предмет...

В руках его оказался толстый кожаный бумажник... Сначала удивительное совпадение грез с действительностью ошеломило на несколько секунд Аггея Фомича, но, убедившись, что в руках его настоящий, не фантастический бумажник, он судорожно притиснул его к груди и стремительно побежал домой...

Ему пришлось бежать с полверсты. Он чувствовал, как от непривычки к быстрому движению у него колело под ложечкой, как в горле расширялся какой-то сухой и колючий клубок, как кровь напряженно билась в его голове. Но остановиться он не мог, ему казалось, что, в случае минутного промедления, кто-нибудь нагонит его и отымет у него найденное сокровище. Во время бега у него упала с головы шапка. Он хотел было нагнуться поднять ее, но тотчас же махнул рукой и помчался дальше. «Тысячу шапок заведем!» – прошептал он в восторге...

На его бешеный стук в дверь отворила проснувшаяся и испуганная жена, со свечой в руках. Дети также проснулись и с изумлением и с ужасом смотрели на отца из своих постелей. Аггей Фомич тяжело опустился в кресло, бледный, весь в поту, с блуждающими и блестящими глазами...

– Анечка! Дети! – прохрипел он, потрясая бумажником. – Вот здесь... в бумажнике... деньги... Сто тысяч... нанимай квартиру. Аня... шампанского... четыреста тысяч... понимаете? Урра-а!

.....

В настоящее время Аггей Фомич так богат, что перед его миллионами все сокровища и Голконды и Калифорнии – ничто. Он держит на конюшне шестьдесят тысяч лошадей и три миллиона пятьсот тысяч карет. Он директор всех железных дорог в мире и даже новой, вновь проложенной с земли на Юпитер. Он необыкновенно щедр и каждому бедняку-просителю охотно дарит по миллиону и по два. Он добр, тих, ласков и только одного не переносит – это если кто-нибудь осмеливается дотронуться до его драгоценного кожаного бумажника, заключающего засаленную трехрублевую бумажку, багажную квитанцию и газетное объявление. Тогда он впадает в странное бешенство и швыряет в окружающих всем, что ему попадется под руку. Жена и дети очень любят его и оказывают ему самое нежное внимание. Он платит им тем же...

И, наконец, почему мы знаем? – может быть, безумцы иногда безмерно счастливее нас, здоровых людей?